

Ольга Седакова, поэт, филолог

1. С какой традицией русской культуры вы себя отождествляете?

Я бы изменила этот вопрос, потому что отождествлять себя с традицией довольно трудно. Легче рассуждать о том, что я люблю, чем интересуюсь. Я изучала русскую культуру как филолог, поэтому я знаю те ее стороны, которые литераторы обычно не знают. Я занималась древнерусской культурой, церковнославянским языком, народной культурой. Для меня это самый богатый и самый интересный пласт, который не исчерпан русской культурой более позднего времени, то есть европеизированной. Я всегда чувствовала это огромное богатство, оставшееся в стороне от проторенной дороги ученичества. Меня также очень интересует византийская культура внутри русской, огромная традиция, связанная прежде всего с церковной культурой. Это изысканная словесность, которую у нас мало знают, это зодчество. Вообще, это трудно обозримое богатство.

- Можно ли говорить о том, что какие-то зерна этой культуры прорастают в вашем творчестве?

Вероятно. Но я предпочитаю, чтобы об этом говорил кто-то другой, человек, наблюдающий со стороны. Есть такой закон антропологический: человек сам о себе не очень хороший свидетель. Я могу сказать, что люблю и чего хочу. В древнерусском искусстве меня привлекает и вдохновляет большая глубина смысла и образа, чем в позднейшей литературе. Возможно ли это воспроизвести? Но ведь дело не только в личном желании. Дело в том, что художник того времени это не личность, не индивидуальность, как в позднейшее время. Он говорит не от себя. Он выражает общее. Скажем, художник 19-го века гораздо более индивидуалистичен. Мы слышим его частный голос, его психологию, его страсти, а не голос чего-то большего, чем он сам. А в эпоху нынешнюю еще труднее обнаружить в себе голос не твой, голос не твоей частной жизни. Вот из него-то, я думаю, и происходят эти формы, как бы безусловные. Мы чувствуем, что это не придумано, что это рождается с необходимостью природного явления. Так же как дерево принимает ту или иную форму не потому, что оно так решило. Другой не может быть. В этих формах я вижу такую же закономерность. Это связано с состоянием самого автора и с тем, что он собственно собирается выразить: свою жизнь, свои почти бытовые волнения и страсти или что-то еще. Мне хотелось бы что-то еще.

- А ваша личность не мешает вашему творчеству?

Личность – сложное понятие, и если в ней нет всеобщего какого-то пласта, то это не личность, это индивидуальность. Личность включает в себе и то, и другое. Мне всегда было менее интересно то, что связано с биографией писателя в при-

вычном смысле слова. Потому что есть внутренняя биография. Мне неинтересно читать о том, с кем Пушкин встретился, с кем поссорился, в кого влюбился. А интересно то, как Пушкин впервые Байрона читает. Это тоже биография, но другого рода. Или он впервые увидел море. Никакой биограф не будет на этом сосредоточиваться. Он будет описывать, с кем Пушкин гулял у моря. Но ведь для Пушкина, творца и поэта, важнее сама встреча с морем. Так что меня больше такие встречи интересуют, а обычные биографические моменты не столь много значат, чтобы их превращать в словесные произведения.

## *2. Какую эпоху русской культуры вы считаете вершинной и почему?*

Я думаю, в русской культуре было много вершин. Я не стала бы называть только одну. Конечно, прежде всего необходимо назвать писателей 19-го века – Толстого, Достоевского, Чехова, которые имеют мировое значение. Они занимают в мировой литературе такое же место, как Шекспир или Гете. И это, несомненно, была вершина, но для меня самая главная из вершин в русской культуре – время Андрея Рублева, преподобного Сергия Радонежского, время расцвета старинной культуры, которое иногда называют Предвозрождением. Это время расцвета особой духовной традиции, которая дала такие плоды, как иконопись, зодчество, словесность, особенно в лице Епифания Премудрого, вероятно, и музыку. Хотя про музыку я знаю меньше. Это эпоха, которая тоже теперь становится мировой. Странствуя по свету, я везде вижу образцы русских икон этого времени. И, конечно, Рублев стал мировым художником, и необыкновенно привлекательным, потому что в его произведениях видят какое-то иное состояние души, чем то, что знакомо всем по западному Средневековью. Особая мягкость и тишина, которыми «дышат» его иконы – это какой-то «русский рай». В это время душа Руси является самым прекрасным образом.

А другое, не менее любимое время в русской культуре – время гонений, которые происходили в советскую эпоху. Это как бы продолжение серебряного века. Это история тех, кто выжил и продолжал работать, кто в России, как Ахматова и Мандельштам, а кто за рубежом, как, скажем, Ходасевич. И здесь и там были созданы величайшие вещи, хотя это казалось практически невозможным, ведь создание стихотворения часто стоило жизни, как это произошло с Мандельштамом. Тогда был тоже великий момент русской культуры.

*- Если вернуться к любимой вами эпохе Андрея Рублева, чем можно объяснить такой колоссальный взлет культуры?*

Я часто думаю об этом времени. В каком-то смысле оно мне напоминает время классической Греции. Почему в течение короткого времени были созданы все классические греческие трагедии? А после этого ничего подобного не происходило. Почему создаются совершенно неподражаемые образы в древнерусской

живописи, и не только Андреем Рублевым? А потом опять ничего похожего не будет. Дальше начнутся стилизации. Есть, наверное, какой-то таинственный процесс в истории, когда «вдохновение» приходит и уходит. Можно, конечно, объяснить все это началом независимости государственной, наступлением возрождения в художественной культуре, но я не люблю такие внешние обоснования. Тут, действительно, что-то случается. Почему вдруг ветер культурных перемен налетает и все меняется? Или почему в начале 20-го века в России наступило такое творческое время, когда вдруг появилось столько художников, литераторов, богословов? Я думаю, здесь вопрос не причин, потому что, как сказал Пастернак, «причины бывают у мелких вещей». У великих вещей причин слишком много. Мы скорее можем принять это как явление, как феномен. Стоит заметить, что он совершенно необязательно совпадает с материальным благополучием. Я думаю, что это таинство истории, которое человек вряд ли может объяснить. Почему вдруг происходят великие перемещения народов? Почему создаются и разрушаются религии? Думать об этом «причинно» как-то неплодотворно. Это можно только описывать: оно случилось! Ведь даже современная история стала, слава Богу, скромнее. Уже понятно, что все объяснять, исходя из способов производства и т. д., – недопустимое упрощение. Настоящий историк, я думаю, знает иррациональность стихии истории.

### *3. Как сказались на развитии русской культуры завершение советского периода истории России?*

Это очень трудно суммировать, потому что мы еще находимся внутри эпохи и видим ее части. Нет такой дистанции, с которой видно все. Я отношусь к тем людям, для которых крушение социалистической системы величайший подарок и радость. Потому что я этого не ждала. Мне странно слышать, когда кто-то говорит, что он этого ждал. Я хорошо помню то состояние: все думали, что это навеки, что мы умрем при этой системе, которую я очень не любила. Так что новая эпоха – это уже само по себе освобождение. Когда я рассказываю своим студентам о том, что было с нами, они не верят. Они не верят, что нельзя было найти текста Библии. Требовалось определенное мужество, чтобы хранить ее дома, потому что это могло оказаться криминальным. А когда я им рассказываю, что многие люди записывались в кружок атеиста только для того, чтобы с этим текстом познакомиться, мне самой уже трудно поверить в такой абсурд. А это только одна деталь. В самиздате ходили не только новейшие вещи. Я переписывала Петрарку на итальянском языке для себя, потому что и Петрарка был недоступен. Человек с детства был лишен всяких возможностей – и культурных, и религиозных, и просто человеческих. Так что слава Богу, что все это кончилось! Другое дело, что пока не видно почти никаких плодов освобождения, потому что освобождение разыгралось очень некрасиво в культурной области. Это похоже на пир

рабов, которых отпустили на свободу, а они стали безобразничать кто во что горазд. Мне и близким мне людям стыдно смотреть на то, что происходит.

*- Что вас более всего шокирует в этой ситуации?*

То, что люди ведут себя как дети, которым дали порезвиться, и они сразу сосредоточились на самом запретном. Отсюда вспышки разного рода непристойностей, нецензурный язык, которым стали пользоваться с воодушевлением. Нарушение приличий ощущается как подвиг. Тут же все переключились на коммерческую литературу. Это тоже своего рода конформизм. Когда был поднят железный занавес, оказалось, что оттуда берется совсем не то, что стоило бы. Хватаются самые дешевые, самые грубые вещи. Но, вероятно, после такой долгой эпохи рабства другого и ожидать не стоило. Однако невольно сравниваешь эпоху нынешнюю и минувшую. Советская культура была неоднородной. Это была не только официальная культура всех видов, совсем официозная или более либеральная. Существовала и культура сопротивления, которая продолжалась от Ахматовой до Бродского и до нашего поколения. Казалось бы, когда произошло освобождение, должна была бы эта линия культуры выйти на свет. Но она так же, как и прежде, осталась за бортом публичной жизни. А на поверхность вышло на самом деле совсем другое. И нынешний период мне кажется очень мутным и бесплодным. Когда через 10 лет вспомнят, что популярнейшими писателями этого времени были Владимир Сорокин и Виктор Пелевин, то, я думаю, удивятся: как можно было всерьез говорить о такой прозе? Это, конечно, промежуточный период, который пройдет. Вопрос: что придет ему на смену?

*- Как объяснить то, что люди, творящие искусство, достойное внимания, оказались снова в тени? Что помешало им выйти на свет?*

У общества не оказалось каких-то институтов и структур, которые оказывают внимание достойным людям и действительно оценивают их творчество. Не оказалось авторитетных голосов. Почему не оказалось? Ведь они были. Слово Аверинцева или Лихачева в позднейшее советское время что-то значило. И их тоже смело. Эти люди или умерли, или оказались за границей. Спорить с наглыми людьми они не смогли. Мы часто обсуждаем происходящее с выдающимся философом Владимиром Вениаминовичем Бибихиным, и он говорит, что эта эпоха напоминает ему 20-е годы с лозунгом: «Долой стыд!». Появились люди, которые под знаком освобождения стали освобождаться от того, чем они никогда и не были связаны – от совести, от стыда. От такой компании остается только спрятаться подальше. Тут дискуссии невозможны. Конечно, страдает от этого читатель, тот, кому навязывают эти тексты, эти имена. Он других не увидит. Но те, кто сами пишут, ничего сделать не могут. Если перенять такие же повадки, это будет унижением своего искусства.

*- Можно ли сказать, что у нас образовался новый андеграунд?*

Не то чтобы андеграунд, у которого есть определенное значение.

У нас был андеграунд в советское время, но он был несколько противоздравительным. Ведь андеграунд – это контркультурное движение. А у нас, наоборот, люди, любящие подлинную культуру и понимающие, что такое ценности культуры, были в андеграунде. Потому что у нас контркультурной была как раз официальная культура. Возникла внепубличная, неофициальная, частная, маргинальная культура. Но это не только российский феномен. Так происходит во всем мире. Когда господствует популярная культура, то образуются области более узкие, менее известные широкой публике, выражающие себе свое пространство. Я встречалась с такими людьми во Франции, в Англии. У них есть свои клубы, где они продолжают любить серьезное искусство. Их вкусы и интересы противопоставлены господствующему движению. Вероятно, это общий путь.

*4. Ощущаются ли изменения в культурной ситуации в связи с приходом к власти нового лидера?*

Я думаю, появление того или другого лидера отражает некоторую потребность в перемене. Лидеры, собственно говоря, рукотворная вещь. Это значит, что в данный момент людям нужно что-то определенное, и они вылепливают из довольно бесформенного материала этот образ. Наблюдая нового лидера можно легко определить, что людям нужно. Так что не он руководит, а им руководит определенная потребность времени. Я недавно вернулась из Италии, и, пожалуй, впервые у меня не возникло чувство, что я вернулась в какое-то тяжелое и мрачное пространство. Ведь всегда по возвращении из Европы в Россию возникал шок: безобразия, разруха, грязь, грубость нравов, подавленность людей. Сейчас Москва меня удивила тем, что она убрана. Люди в благодушном настроении. Внешней агрессии становится меньше. Я никак не хочу связывать это с появлением нового лидера. Просто время разрухи стало для людей невыносимым. Хочется делать что-то хорошо, упорядочить свою жизнь. Каким будет результат, пока неизвестно, но явно начинается движение к этому. Кончился внутренний импульс советского человека – «пропади все пропадом», поэтому можно ломать телефоны и портить подъезды. Людям хочется как-то обустроить свою землю, и это не призыв сверху, это движение самих людей: «Мы хотим жить в человеческом мире!». Так я это чувствую, и это, конечно, отразится и в культуре. Потому что в таком настроении человек будет выбирать себе и чтение, и музыку, соответствующую его запросам.

*5. Восстанавливается ли по вашему мнению государственная опека культуры? Нуждается ли в этом русская культура на данном этапе?*



Я против государственной опеки и в данный период, и всегда. До добра это никогда не доводит. Другое дело, что у нас не существует других, альтернативных механизмов поддержки некоммерческой культуры. Только коммерческая культура себя обеспечивает, а культура некоммерческая, конечно, нуждается в поддержке. В других странах организованы частные фонды, какие-то частные общества, поддерживающие некоммерческую культуру. Всего этого у нас нет, поэтому вновь возникает мысль о государственной поддержке. Я не знаю, как искать выход в такой ситуации, но рука государства – «холодное чудовище», как кто-то сказал. И эта рука обязательно оставляет свой отпечаток на том, к чему она прикасается, чему покровительствует.

*- Вы имеете в виду художественное творчество?*

Да все, что угодно. Даже если государство организует выставку, то главным действующим лицом будет не искусствовед, имеющий свою концепцию, а чиновник, у которого прежде всего холодный политический расчет. Конечно, везде есть государственные праздники и государственные учреждения, но живая творческая жизнь всегда развивается в других местах. Я думаю, что самый злободневный вопрос, как восстановить систему, подобную меценатству, которое когда-то в России действительно поддерживало культуру.

*- Вы считаете, что у государства не должно быть никаких обязанностей, в том числе и финансовых, по отношению к культуре?*

Что касается образования, например, то это, безусловно, забота государства. Никакой частный фонд не может заниматься образованием. И то, что государство махнуло рукой на образование, и школьное, и университетское, уже сказалось. За минувшие 10 лет возникла ужасная прореха, и бегство людей, которые хотели работать в науке и заниматься образованием, на совести государства. Образование, его финансирование, выравнивание курса «общеобязательных» знаний, конечно, дело государственное. Иначе вырастут поколения людей, закончивших разные школы, которые не смогут между собой общаться. Это обязано корректировать государство, но что касается художественной культуры, то чем меньше будет вмешиваться государство, тем лучше. Но боюсь, что культура потянется за государственной поддержкой, потому что никакой иной не предвидится. Меня это ничуть не радует.

*б. Как соотносятся понятия «элитарность» и «народность» в новую эпоху?*

Слово «народность» относится к языку пропаганды, и оно настолько скомпрометировано, что никто всерьез его не воспринимает. Это напоминает мне то, что случилось в Германии. Гитлеровская пропаганда создала свой «словарь», в котором оказались в общем-то хорошие слова. Но теперь их просто невозможно

употреблять. Например, слово «верность» современные немцы не употребляют, потому что оно связано с языком пропаганды. У нас в разряд таких пропагандистских слов попало, в частности, слово «народность». Поэтому я предпочла бы слово «человечность». То есть искусство, которое обращено к человеку вообще, а не к профессионалу, не к знатоку в этой области. Я думаю, что без этого измерения большого искусства не бывает, как бы оно ни было сложно и изощренно. Для меня поэзия Элиота очень аристократична, но она человечна и, если угодно, народна. Потому что она обращена к человеку вообще, а не к знатоку, не к члену своей группы. Само разделение на элитарное и популярное влечет за собой то, что популярное становится все более плоским, вульгарным, а элитарное все более мертвым, искусственным и «александрийским», как в конце античной эпохи. Это была исключительно элитарная культура, ее создатели являлись фактически ее потребителями. У нее нет читателя. Она интересна в результате только историку культуры.

*- Но все-таки как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию, когда узкие круги создателей серьезного искусства в каком-то смысле ушли в себя, а массовая культура заявляет о себе во весь голос?*

В любом случае слово «народный» к нынешней ситуации мало применимо. Есть масса разновидностей популярной культуры и есть культура, которая противопоставляет себя популярной, потребительской, но она исключительно негативна. Я уже называла имена писателей Ерофеева, Сорокина. Есть художники такого же направления. Они соединяются с западным постмодернизмом и его утрируют. Такой силы отрицания и негативизма в современном западном постмодернизме вы не увидите. Это опыт злобы, раздражения и ненависти, накопленный за все предыдущее время. Постмодернизм в принципе довольно прохладная вещь, а у нас он очень горячий. Его приверженцы, вероятно, считают, что создают элитарную культуру, поскольку это явно не культура потребления. Мне довольно обидно, что они притягивают внимание исследователей русской культуры, славистов. Все это без конца переводится на разные языки. Какой-то третьей культуры я, пожалуй, не вижу. Может быть, есть отдельные люди, но нет среды, в которой были бы приняты не популярные, не коммерческие, не эпатажные темы. Этого пока не наблюдается. Что же касается массовой культуры, то я не отношусь к ней резко отрицательно. Многие ее испугались, потому что, действительно, такого типа массовой культуры у нас еще не знали. Но эту массовую культуру я все же предпочту советской массовой культуре, прежде всего потому, что она не милитаристская. Советская массовая культура держала человека в строю. Во всем была видна руководящая рука. А эта культура просто развлекательная, которая представляет человека как существо частное. Я не вижу в ней какой-то опасности, которая была в мобилизующем советском поп-искусстве. Это было страшно, когда она превращала людей в солдат с оловянными глазами, которые готовы были дать отпор всему чужому, всем врагам. Это было страшнее. Нынешняя

массовая культура меня не пугает. Я отношусь к этому фаталистически. Если действующим лицом истории стали массы, то они требуют своей, массовой культуры. Я считаю главным то, что теперь появились новые источники получения знаний, информации. Я просто боюсь заходить в книжные магазины, потому что нет ни денег, ни пространства в доме, чтобы приобретать все, что издается интересного. Сейчас доступно все, что угодно. Может быть, это новые источники мыслей и чувств. Положение нынешней молодежи несравненно лучше и перспективнее. Ничего не нужно узнавать тайком. Если человек массовой культуры открывает, допустим, Шекспира и всерьез его прочитывает, то он способен ощутить силу художественного высказывания. Во всяком случае, если человек чуток и талантлив, он воспримет. И вообще, присутствие массовой культуры – это вполне нормально, лучше заплатить такую цену, чем иметь цензуру, как это было в недавнем прошлом.

*7. Понимаете ли вы свою деятельность как служение и в каком смысле?*

Если ответить – да, то это прозвучит дерзко. Если – нет, то зачем тогда я этим занимаюсь? В каком-то смысле это для меня оправдание жизни. Для чего же тогда я существую, если то, что я делаю, не считаю важным? Как говорил Толстой, «если в тот момент, когда вы пишете, вы не считаете, что от вашего письма зависит весь мир, лучше не пишите».

*- Ваша деятельность многогранна. Вы ведь не только поэт, но и преподаватель. Что значит для вас преподавание?*

Это просветительство, которое в традиции как раз русской интеллигенции. И эта традиция сохраняется. Я ученица таких людей как Сергей Аверинцев, Юрий Лотман, для которых просвещение в глубинном смысле было важнейшей задачей. Поэтому я не могу себя от этого освободить и заниматься только поэтическим творчеством. Просветительская деятельность не является мучением для меня, хотя это все-таки вторично.

*- Преподавание - это некое творчество или некое ремесло?*  
Как любое другое человеческое занятие. Это и то, и другое.

*- А что-нибудь меняется в процессе преподавания, если педагог – поэт?*

Я не люблю и не верю, когда люди говорят: здесь я поэт, а там преподаватель. Личность не такая вещь, которую можно разложить по разным шкафам. Что, собственно говоря, преподает преподаватель? Прежде всего себя! Так складывалось, что у меня всегда были лучшие учителя. Что я от них узнала? Их самих. Преподаватель - явление человека, явление личности. Это самое важное. Это то, что остается на всю жизнь, то, что переходит внутрь. Мои учителя – Юрий Ми-



хайлович Лотман, Никита Ильич Толстой – живут внутри меня. В трудной ситуации я думаю, понравилось бы это Никите Ильичу или нет. Вот что главное в преподавателе. Он дает меру вещей.

*8. Какое влияние оказывает на русскую культуру процесс глобализации мирового культурного пространства?*

Начался новый этап истории, и кто-то очень точно сказал: «Люди сняли национальные костюмы. Они, конечно, иногда появляются в них, но это уже декорация». На самом деле образуется глобальная вселенская цивилизация. Нравится или нет, но это уже факт. В последние 10 лет мне приходится скитаться по всем континентам, вплоть до Южной Африки. Я вижу разную природу, разные ландшафты. Я встречаю людей, говорящих на разных языках, но у каждого в доме стоит телевизор, каждый получает примерно одну и ту же информацию. Поэтому антиглобалистские реакции – это бунт против того, чего уже не миновать, как бы последнее сопротивление. Но это случилось, поскольку таков характер техники, таков характер информации и т. д. Поскольку перед нами только самое начало процесса, то видны очень неприглядные его стороны. У нас, после железного занавеса, возникли и очень странные симптомы: например, вдруг все ведущие радио- и телепрограммы заговорили с английской интонацией. О каком-то глубинном воздействии этого явления пока трудно говорить, но оно должно быть плодотворным. Так мне представляется. По крайней мере в плане обогащения замкнутых культур.

*- Не грозит ли нам некая унификация, потеря национальных особенностей культуры и родного языка, который уже невероятно засорен?*

Малые народы теряют свой язык еще быстрее, чем мы. В эпоху информации все хотят говорить на том языке, который понятен большему числу людей. Неслучайно в скандинавских странах второй язык английский. Так будет и у нас. Но еще интереснее то, что язык как средство общения вообще теряется. Люди переходят на язык знаков, простейших знаков, как в аэропортах. Человек перестает разговаривать. Это – факт новой цивилизации. Думаю, самым нелепым было бы вопреки всему сохранять нечто свое. Культура не живет сохранением, культура живет только творчеством. Если будут возникать вещи, которые могут создаваться только в России или только в Германии, это будет подарок от России или от Германии всему миру. Тогда так будет происходить выживание культуры, а хранение, музейная стилизация – заведомо мертвая вещь. Дело в том, что реальная, актуальная культура уже одна. Вопрос только в том, чтобы эта культура не была слишком бедной, слишком выровненной по низу.

*- В свое время был создан язык эсперанто, который так и не прижился. А международным языком стал английский. Почему живой язык все же побеждает?*

История – это не такая стихия, с которой можно справиться указами и созданием искусственных языков. Дело не в том, что в английском языке заключена какая-то особая, исключительная сила. Если на месте самой могучей державы была бы Франция, таким языком стал бы французский, что в свое время и было. Здесь язык вторичен. Он просто означает господство определенного типа культуры. Если в мире властвует американский тип культуры, то вместе с ним приходит и язык. Этот язык никого не заставляют учить. Просто его выгодно и удобно учить, люди сами к этому стремятся. Прежде всего важно господство экономическое, что подразумевает и культуру производства. Я не хочу это оценивать. Может быть, мне не все нравится в такой ситуации. Но когда ультра-патриоты говорят, что русский язык должен стать мировым языком, хочется им возразить: «Сделайте Россию такой влиятельной, такой притягательной для всех, и все будут учить русский».

*9. Сложилась ли в России новые взаимоотношения церкви и государства? Как это сказывается на русской культуре?*

Нет, они, конечно, не сложились. Они в процессе изменений. И, видимо, этот процесс будет долгим. Но кардинально изменилось положение церкви, которая раньше относилась к гонимым силам в обществе. А теперь она если не становится, то во всяком случае стремится стать господствующей, официальной церковью. Пока этого не произошло, но есть такая перспектива. Конечно, сейчас меняется многое, потому что гонимая церковь привлекала одних людей, а господствующая – совсем других. Раньше для меня и круга близких мне людей церковь была областью свободы, свободы от режима, от системы советских ценностей. Это было место родное. Мы были уверены, что не встретим там карьеристов и всех наших мучителей, всяких начальников и парторгов. Их там не было и быть не могло. Теперь именно такого типа люди составляют большинство вновь пришедших в церковь. И с их приходом многое меняется.

Что касается взаимоотношений церкви и светской культуры, то они всегда были не простыми. И только в начале 20-го века началось какое-то встречное движение. Во время гонений это сближение происходило стихийно: и те, кто занимались художественным творчеством, и те, кто принадлежали к церкви, были гонимыми людьми и находились во внутренней оппозиции и к этому режиму, и к этой плебейской культуре. Многие из художников обращались к церкви, хотя я не хочу идеализировать эту ситуацию, потому что многие таким образом просто выражали протест. Их привлекали не сама церковь и не само христианство, а то, что это было позицией противостояния. Теперь все происходит с точностью до наоборот. Я вижу по своим студентам, что самые самостоятельные и честные

люди отворачиваются от церкви, воспринимая ее как зону официального, доктринерского и совсем не свободного пространства. Во многом это происходит оттого, что «новые церковные люди», не проникнув еще в существо церкви, выступают с публичными заявлениями, предлагая реставрировать церковь 19-го века, с катехизисом того времени, где все расписано и разложено по полочкам, что для современного человека невыносимо. В результате возникает даже какая-то поляризация: культура, во всяком случае та ее часть, о которой говорят, становится активно антиклерикальной, даже атеистической. Внутри церкви эта культура не признается. Она отвергается церковью. Зато вокруг церкви создается своя субкультура: церковные писатели, иконописцы. Но они не являются серьезными представителями своего дела, это скорее ремесленники. Мне представляется такое положение очень болезненным, потому что у нас была редкая возможность действительно плодотворного союза. Примером может служить деятельность Сергея Сергеевича Аверинцева, человека верующего и церковного, глубочайшего знатока истории и культуры. Но ситуация сложилась так, что ни он, ни подобные ему люди не могут оказать влияния на процесс сближения церкви и культуры. К счастью, есть и исключения. У меня есть друзья в одном приходе, где служит отец Иоанн Привалов и где к культуре относятся с любовью и интересом. И пожалуй, нигде я не видела такой отзывчивой аудитории.

*- Не кажется ли вам, что ортодоксальность русской церкви является главным тормозом к сближению с культурой и в этом смысле западная церковь более прогрессивна?*

Это не так. Я представляю, что происходит на Западе, и могу сказать, что там взаимоотношения культуры и церкви куда более драматичны, чем у нас. У католической церкви такое прошлое, что это отталкивает большинство творческих людей. И несмотря на то, что Иоанн Павел Второй обращается с призывами и посланиями к творческим людям, ответа нет. Западная церковь открыта сейчас культуре, но культура мстит за прошлое: за все процессы инквизиции, за грубые вторжения в область культурной жизни и т. д. В истории русской церкви такого не было, все было мягче. С тех пор, как возникла новая русская культура западного типа, столкновений культуры с церковью не происходило. (Пушкин и его современник Серафим Саровский друг друга не знали.) Так что наше прошлое лучше, и таких обид у нас нет. Что же касается ортодоксальности, то 20-й век для русской церкви был очень плодотворным. Те, кто оказались в эмиграции, развивали богословие там: это и Парижская школа, и Свято-Владимирская академия в Америке. Люди, которые здесь подвергались гонениям, оставили свои записки, свои труды. Это было новое мученичество. Но был накоплен огромный опыт. И когда говорят об ортодоксальности, то в это вкладывают обычно плохой смысл, не представляя, в какой мере эта ортодоксальность обязательна и где границы догмы, а где границы свободного мнения. В установлениях церкви нет жесткости, которой должен человек бояться. Ее просто нет.

*- То есть проблема заключается в неосведомленности?*

Конечно, проблема в глубоком невежестве, и особенно тех, кто только что пришел в церковь и начал распространять свои невежественные взгляды, которые всех пугают. Если бы я услышала такие речи, когда в первый раз пришла в церковь, я бы тоже испугалась.

*- Как долго может идти этот процесс расхождения церкви и культуры и что может способствовать их сближению?*

Я думаю, это процесс долгий. Но главное: необходимо сформулировать отчетливую позицию, которая стала бы потихоньку усваиваться повсеместно. Наверное, это должно быть на уровне официального решения. Так же, как была принята церковью социальная программа, так, вероятно, должно быть определено и отношение церкви к культуре. Наверное, на уровне высшего церковного начальства должно быть сказано: «Мы не враги светской культуры. Мы не враги творческого поиска». Вообще пользоваться такого рода доктринами не в характере русской церкви, социальное учение – это католическое понятие. Но современный человек настолько привык доверять официальным решениям, что, вероятно, нужен какой-то документ, который будет вызывать доверие у всех.

*10. Является ли завершение постсоветской эпохи, совпавшее с концом века и тысячелетия, завершением определенного этапа в развитии русской культуры и можно ли говорить о новых тенденциях?*

У нас все происходит «ползуче». Это свойство русской истории. Все тянется медленно, долго. Сколько десятилетий отменяли крепостное право! До сих пор я не уверена, что кончился постсоветский период, так же как и советский. Прежде всего потому, что живет еще столько людей, допустим, поколения моих родителей, которые остаются советскими людьми и другими не станут. И они несут с собой этот импульс. И пока не ушло поколение советских людей, нельзя сказать, что кончилось советское время. И тем более постсоветское. Можно сказать, что к концу этого времени разброда и хаоса возникла попытка найти позитивные, конструктивные основы существования, но я не вижу пока реальных проявлений. К сожалению, мне пока не удается обнаружить что-то новое.

*- А что касается молодежи, ваших студентов, они не являются источником чего-то нового? В университетской среде не рождаются сейчас новые идеи?*

Я очень люблю молодежь, но, думаю, это большая и длительная ошибка цивилизации – равняться на молодежь. И хотя везде господствует молодежный стиль, мне кажется, что новое слово может сейчас сказать взрослый человек, а не молодой. Для того, чтобы сказать новое слово, должны быть опыт и ответственность. Потому что новизна старого типа, такая новизна, которая была в авангарде – ще-

нячи восторги по поводу всего, что связано с молодостью, – сейчас не ново. Вместе с 20-м веком это отошло. Мне кажется, новое слово должно быть мудрым. И поэтому я его жду скорее не от молодых людей.